Николай Никольский

НЕОЖИДАННОЕ КУПАНИЕ

Возвращаясь с охоты, я набрел на лесное озерцо и решил на берегу немного отдохнуть. Я уселся на стволе дерева. Тишина была необыкновенная.

Но вот из чащи за озером послышался треск. Из лесу выскочил лось и большими скачками понесся ко мне. Я поднялся с дерева и только тогда увидел, что на спине у него распластался какой-то пятнистый зверь. Лось со всего размаха прыгнул в воду и скрылся с головой. Когда он показался из воды, на спине уже не было зверя. Охотницей была крупная рысь. Она быстро приплыла к берегу и скрылась в лесу.

Лось переплыл озеро, вышел из воды, постоял, оглянулся назад и спокойно пошел в лес. Видно, он не раз спасался в озере от хищников!

БЕЛОБОКИЕ СТОРОЖА

Каждое утро к лесной полянке прилетали тете­рева. Птицы поедали семена ёлки, берёзы, осины. Недалеко от осиновой рощи кормились белобо­кие сороки.

Однажды ранним утром лиса возвращалась с охо­ты. Она почуяла запах птиц. У охотницы заблес­тели глаза, быстро поползла она к добыче. Но подползти к тетеревам лиса не смогла. Затрещали сороки на макушке осины. С криком стали они кружиться около хищницы. Тут тетерева сорва­лись с кормёжки. Белобокие сороки спасли их от лисицы.

### ЖАДНЫЙ ВОЛК

После весеннего половодья на берегу оставалось много больших луж и протоков. Иногда слышны были громкие всплески. Это щуки метали икру в протоках. Около затопленной низины я заметил какого-то большого серого зверя. Он стоял в воде.

Прячась за прибрежные кусты, я тихо подошел к зверю. Это был волк. Он стоял ко мне головой. Вдруг недалеко от волка раздался плеск воды. Волк немного присел, сделал большой прыжок и вытащил из воды большую щуку; потом не спеша выволок ее подальше на берег и бросил на землю. Щука стала прыгать, извиваться. Волк оглянулся кругом, схватил щуку зубами, отнес подальше от воды, вернулся к затопленной низине и замер. Опять плеснула щука, волк поймал ее и только хотел отнести к первой, как перед самым носом показалась спина другой щуки. Волк не удержался, хотел ее схватить да упустил и ту, что держал в зубах, и она поплыла.

Тут я не выдержал и громко свистнул. Волк выпрыгнул на берег и бросился в лес. Щуку, которую он поймал первой, я взял себе, а волку вдогонку крикнул:

– За двумя щуками погонишься, ни одной не поймаешь!

#### Сергей Образцов

ЧТО Я ХОЧУ СКАЗАТЬ ВАМ…

… Вы должны знать, что дружить – это значит жалеть, и поэтому нельзя поймать ежика и принести его домой, нельзя поймать белочку и посадить ее в клетку. Какая же это дружба! Какая же это любовь! Ведь каждому в неволе плохо.

Как бы вы хорошо ни кормили ежика, как бы ни ухаживали за белкой, им будет плохо, и они в конце концов могут умереть. И вы будете в этом виноваты.

И навсегда запомните, что нельзя говорить: «Я люблю лес», а самому ломать живые сучья, «Я люблю животных», а самому стрелять из рогатки в воробья или кошку…

 А любить и знать природу и животных очень нужно. Только тогда интересно жить, когда ты знаешь все, что тебя окружает.

Каждый мальчик, каждая девочка должны знать, что кукует не самка кукушки, а самец. Это он так поет. Что ворон – не муж вороны. Это разные птицы.

 Надо уметь отличать клен от липы, елку от пихты, а сосну от лиственницы.

Нужно знать, что животные очень привыкают к человеку. Даже дикий медведь никогда первый на человека не бросается.

ЗАЙЧОНОК

Раньше… травяные луга, и рожь, и овес косили косами.

Большие заливные луга косила сообща вся деревня. Называлось это косить «всем миром». И было очень красиво…

В траве на лугу бывали и лягушки, и гнезда жаворонков, а иногда и маленькие зайчата…

Когда у зайчих родятся зайчата, то малыши сидят в разных местах. Там, где их родили мамы. Сидят и чуть-чуть попискивают. А зайчихи кормят зайчат, не думая о том свой ли это зайчонок или чужой. Услышат писк и накормят. Получается, что у каждого зайчонка много мам, и у каждой зайчихи много детей…

#### КАНАРЕЙКИ

Лесных птиц не надо держать в клетках, они должны жить в лесах, в полях, в небе, а клетка для них – тюрьма.

А вот канарейка может жит в клетке. Она уже давным-давно домашняя птица. И родители вашей канарейки родились в клетке, и ее бабушки и дедушки, и прабабушки и прадедушки.

Клетка для канарейки не тюрьма. Это ее дом.

Иметь канарейку не трудно. Правда, каждый день нужно чистить клетку, менять воду, подсыпать корм. Но зато как весело становится в комнате, как замечательно поет кенарь (Так называют самца канарейки).

В Москве каждый год проходит конкурс на канареечное пение.

Владельцы приносят своих питомцев в маленьких клеточках. Клетки покрыты черным чехлом.

Ставят клеточку на стол перед жюри и снимают чехол.

Канарейка видит свет, людей вокруг себя (людей канарейки не боятся) и сразу начинает петь, и тогда члены жюри отмечают, сколько минут она поет, сколько колен в каждой песне, не «чавкает ли она», а может «скидывается», то есть неожиданно останавливается..

Всякий кенарь, как только вырастет, обязательно поет. Песня у него довольно простая.

Некоторые любители канареек хотят, чтобы песня была длинная и разнообразная.

Тогда кенаря учат петь. Учителем может быть какой-нибудь очень хороший кенарь. Его помещают в центре, а вокруг ставят клетки с молодыми птицами.

А бывает, что учитель – не кенарь, а поющая машинка. Вроде шарманки со свисточками. И вот начинают крутить ручку шарманки, она поет канарейкой, и как только молодой кенарь повторит хоть одно колено, клетку сразу накрывают черным чехлом, чтобы он больше не пел, чтобы только это певческое колено осталось у него в памяти. А завтра опять поставят рядом с шарманкой и начнут учить дальше…

Евгений Олейник

ЖАВОРОНОК

Солнце припекало. Над прогретой землей струился пар. А еще выше будто звучал маленький колокольчик.

– Что это? – спросил Вася. Он остановился, посмотрел вверх, но ничего не увидел, кроме бездонного неба.

– Да вот он, жаворонок! – показал дедушка.

Вася вгляделся в синеву неба: маленькая птичка кругами уходила вверх. Вот она превратилась в точку, потом и точка пропала. И только звенел стеклянный колокольчик.

А может, это звенели солнечные лучи?

#### ПОЛЮШКО-ПОЛЕ

Вася и дедушка идут полевой дорогою.

В поле трактор пашет землю. Земля не серая, как у них в городе, а черная.

– Чернозем! – кивнул дедушка. – Самая плодородная почва в мире! Богатство! Во время войны фашисты вывозили не только зерно, коров, овец, но и чернозем.

– Как?! – не поверил Вася. – Вот эту землю?

– Да, внучек, ее, – подтвердил дедушка. – На подводах везли чернозем на станцию, а оттуда поездом отправляли в Германию.

Васе никогда и в голову не приходило, что земля – такая большая ценность. Ведь ее так много вокруг! Пристально смотрел он на распаханное поле. Вдруг Васе показалось, что комья чернозема шевелятся! Но в этот же миг он разглядел больших черных птиц. Птицы важно ходили по полю, переваливаясь с боку на бок. Они то и дело наклонялись к пахоте, склевывали что-то.

– Грачи! Смотри – грачи! – узнав, радостно закричал Вася.

Черное вспаханное поле сменилось зеленым.

– Дедушка, а почему там уже растет трава?

– Это не трава, Васенька, а озимая пшеница. Видишь, какая она сильная вышла из-под снега?! Глаз радует!

– А как же она не замерзла?

– Да ей там было тепло, как под одеялом! Эту пшеницу потому и зовут озимой, что она под снегом зимует. Главная наша кормилица!

РОДНИК

Вася приблизил лицо к воде и увидел, как со дна озерка, из темной расщелины между камнями, толчком выбросило сизую струю. Со дна поднялись песчинки и затанцевали в воде. Зеркальная поверхность родника вскипела. Затем песчинки осели на дно. Тогда новая синеватая струя опять выбросила их вверх. Родник бился, дышал, словно живой!

Вася припал к воде, глотнул. Вода была такой холодной, что даже зубы ломило.

– Чистая криница – сладкая водица! – засмеялся дедушка. – Видишь, родник бьет из-под холма. Этот холм зовут Казацкой могилой. Здесь, говорят, сражались русские богатыри с врагами. Кто попьет родниковой воды, станет сильным и храбрым, каким и должен быть защитник родной земли. Ну что, прибавилось у тебя силушки?

ПРОЛЕСКИ

В лесу светло и по-весеннему пусто. Деревья стояли голые. Землю устилали посеревшие на зиму листья. Они шуршали под ногами. Казалось, ничто еще не проснулось после зимней спячки.

А я пролеску нашел! – остановился дедушка.

Где? Где?

Вдруг Вася тоже увидел два узеньких нежно-зеленых листика. А между ними на верхушке тоненького стебелька смущенно голубел цветок – колокольчик.

И я нашел! – крикнул Вася и руку протянул: сорвать.

А дедушка сказал:

Пролески под снегом всю зиму ждали весны. Хотели порадоваться солнышку, теплу. А ты – рвать…

Посмотрел Вася на цветок, полюбовался и дальше пошел. Пусть растут голубые пролески – первые весенние цветы.

#### ЯБЛОНЯ

Яблоня стоит посреди огорода. На ней едва проклюнулись маленькие сморщенные листочки. Зато раскидистые коричневые ветви дерева сплошь покрыты бело-розовыми цветами. Васе кажется, что во двор спустилось с неба белое облачко. Опустилось и запуталось в яблоневых ветвях.

– Сейчас мы ее побелим, – говорит дедушка.

Он насыпал в ведерко извести, налил туда воды и размешал. Потом макнул щетку в ведерко, провел ею по стволу яблони.

– А знаешь, зачем мы белим яблоню известью? – спросил дедушка.

– Знаю, – сказал Вася, – чтоб красивая была. Вся белая!

– Ну что ж, может, и так… – Дедушка промолчал. – Но главное, чтобы вредители, всякие там жучки-червячки, не точили дерево.

Вася тянет руку к щетке.

Вверх – вниз, вверх – вниз. Васе кажется, что щеткой он гладит шершавую кору дерева. Мальчик любит яблоню. Она такая большая, сильная!. Вася помнит, что первая проталина в снегу появилась весной возле стола яблони. Дерево и солнце стали бороться с зимой и победили ее.

Вася услышал тяжелое гудение. Пчела, как маленький вертолет, повисла над цветком. На задних ножках у нее были странные желтые шарики.

– Дедушка, смотри, какие толстые ножки у этой пчелы!

Дедушка тоже глядит на пчелу:

– Ишь, как нагрузилась – еле летит! У нее на задних ножках есть углубления – корзинками их называют. В эти корзинки пчела и собирает с цветов пыльцу. Ту, что остается у тебя на носу, когда цветок нюхаешь. А пыльца – это пчелиный хлеб.

Ай да яблонька-заботница, добрая работница! Только сама ожила – и сразу же пчелок кормить!

Константин Паустовский

ЗАБОТЛИВЫЙ ЦВЕТОК

Есть такое растение – высокое, с красными цветами. Цветы эти собраны в большие стоячие кисти. Называется оно кипрей. Об этом кипрее я и хочу рассказать.

Прошлым летом я жил в маленьком городке на одной из наших полноводных рек. Около этого городка сажали сосновые леса.

…Около дома, где помещалось лесничество, разросся по склону оврага теннисный сад. По дну оврага протекала речушка. Тут же невдалеке она впадала в большую реку.

Речушка была тихая, с ленивым течением и густыми зарослями по берегам. В этих зарослях была протоптана к воде тропика, а около нее стояла скамейка. В свободные минуты лесничий Михаил Михайлович, Анюта и другие сотрудники лесничества любили немного посидеть на этой скамеечке, посмотреть, как толчется над водой мошкара и как заходящее солнце догорает на облаках, похожих на парусные корабли.

В этот вечер я застал Михаила Михайловича и Анюту на скамейке на берегу реки.

В омуте у наших ног плавала необыкновенно зеленая ряска. На чистых местах цвел водокрас – белые и тонкие, как папиросная бумага, цветы с красной сердцевиной. Выше омута на крутом берегу островами разросся кипрей.

- Кипрей – это наш помощник, - заметил Михаил Михайлович.

- И белки тоже неплохие помощники, - добавила Анюта. - …Лучших сборщиков шишек, чем белки, нету на свете. Пойдемте с нами завтра в лес. Сами увидите.

- Ну что ж, - согласился я, - пойдемте. А вот кипрей чем вам помогает, я не знаю. До сих пор я только знал, что его листья заваривают вместо чая.

- Поэтому его и прозвали в народе Иван-чаем, - объяснил Михаил Михайлович. – А помогает он нам вот чем…

Михаил Михайлович начал рассказывать.

Кипрей всегда разрастается на лесных пожарищах и порубках. Недавно еще кипрей считали сорной травой. Он только и годился, что на дешевый чай.

Лесники безжалостно вырывали весь кипрей, что вырастал рядом с молодыми сосенками. Делали это они потому, что считали, будто кипрей заглушает побеги сосен, отнимает у них свет и влагу.

Но вскоре заметили, что сосенки в тех местах, где уничтожен кипрей, совсем не могут бороться с холодом и от первых же утренних морозов, какие бывают в начале осени, начисто погибают.

Ученые, конечно, начали искать причину этого и наконец нашли.

- Что же, оказалось? – спросил Михаил Михайлович и сам себе ответил: - А оказалось, что кипрей – очень теплый цветок. Когда ударит осенний мороз и иней посеребрит траву, то около кипрея инея нет. Потому что вокруг кипрея стоит теплый воздух. Этот цветок выделяет из себя теплоту. И в этой теплоте растут себе без страха все соседи кипрея, все слабенькие побеги, пока зима не прикроет их, как ватным одеялом, глубоким снежком. И заметьте, что кипрей всегда разрастается рядом с молодыми соснами. Это их сторож, их защитник, их нянька. Бывает, в сильный мороз у кипрея отмерзает вся верхушка, а он все равно не сдается, живет и дышит теплотой. Самоотверженный цветок.

- Кипрей, - сказала Анюта, - не только воздух обогревает, но и почву. Так что и корешки всех этих побегов не замерзают.

- Вы думаете, один кипрей такой замечательный? – спросил меня Михаил Михайлович. – Почти про каждое растение можно рассказать такие удивительные вещи, что вы просто ахнете. Что ни цветок, то прямо рассказ. Растения спасают нас от болезней, дают крепкий сон, свежие силы, одевают, кормят, - всего не перечтешь. Нет у нас лучше друзей, чем растения. Да если бы я умел рассказывать сказки, я бы о каждой травинке, о каждом каком-нибудь незаметном маленьком лютике или колоске порассказал бы такое, что все старые добрые сказочники мне бы позавидовали.

- Еще бы! – сказала Анюта. – Если бы они знали тогда то, что мы знаем сейчас, тогда и сказок не надо бы.

На следующий день я ходил вместе с мальчиком и Анютой в Моховой лес, видел беличьи склады сосновых шишек, видел заросли кипрея на гарях и молодых посадках, и с тех пор я начал относиться и к белкам, и к цветам кипрея, и к молодым соседкам как к своим верным друзьям.

Перед отъездом я сорвал кисть кипрея. Анюта высушила ее мне в сухом песке. От этого цветы не потеряли своей яркой пунцовой окраски.

У себя в Москве я разложил эту сухую кисть кипрея в толстую книгу. Называлась она «Русские народные сказки». И каждый раз, когда я раскрывал эту книгу, я думал о том, что жизнь, окружающая нас, хотя бы жизнь вот этого простенького и скромного цветка, бывает интереснее самых волшебных сказок.

#### ПОДАРОК

Каждый раз, когда приближалась осень, начинались разговоры о том, что многое в природе устроено не так, как нам бы хотелось. Зима у нас длинная, затяжная, лето гораздо короче зимы, а осень проходит мгновенно и оставляет впечатление промелькнувшей за окном золотой птицы.

Разговоры наши любил слушать внук лесника Ваня, мальчик лет пятнадцати.

Однажды Ваня принёс маленькую, выкопанную с корнем берёзу. Корни он обложил сырым мхом и обернул рогожей.

– Это вам,– сказал он и покраснел.– Подарок. Посади­те её в деревянную кадку и поставьте в тёплой комнате – она всю зиму будет зелёная.

– Зачем ты её выкопал, чудак? – спросил Рувим[[1]](#footnote-1).

– Вы же говорили, что вам жалко лета,– ответил Ваня.– Дед меня и надоумил. «Сбегай, говорит, на прошлогоднюю гарь, там берёзы–двухлетки растут, как трава,– проходу от них нет никакого. Выкопай и отнеси Руму Исаевичу (так дед называл Рувима). Он о лете беспокоится, вот и будет ему на студёную зиму летняя память. Оно, конечно, весело поглядеть на зелё­ный лист, когда на дворе снег валит, как из мешка».

– Я не только о лете, а ещё больше об осени жалею,– сказал Рувим и потрогал тоненькие листья берёзы.

Мы принесли из сарая ящик, насыпали его доверху зем­лёй и пересадили в него маленькую берёзу. Ящик поставили в самой светлой и тёплой комнате у окна, и через день опустив­шиеся ветки берёзы поднялись, вся она повеселела, и даже листья у неё уже шумели, когда сквозной ветер врывался в комнату и в сердцах хлопал дверью.

В саду поселилась осень, но листья нашей берёзы остава­лись зелёными и живыми. Горели тёмным пурпуром клёны, порозовел бересклет[[2]](#footnote-2), ссыхался дикий виноград на беседке. Даже кое–где на берёзах в саду появились жёлтые пряди, как первая седина у нестарого человека. Но берёза в комнате, ка­залось, всё молодела. Мы не замечали у неё никаких призна­ков увядания.

Как–то ночью пришёл первый заморозок. Он надышал хо­лодом на стёкла в доме, и они запотели, посыпал зернистым инеем крыши, захрустел под ногами. Одни только звёзды как будто обрадовались первому морозу и сверкали гораздо ярче, чем в тёплые летние ночи. В эту ночь я проснулся от протяж­ного и приятного звука – пастуший рожок пел в темноте. За окнами едва заметно голубела заря.

Я оделся и вышел в сад. Резкий воздух обмыл лицо холод­ной водой – сон сразу прошёл. Разгорался рассвет.

Ветра не было, но в саду всё падали и падали листья. Бе­рёзы за одну ночь пожелтели до самых верхушек, и листья осыпались с них частым и печальным дождём.

Я вернулся в комнаты: в них было тепло, сонно. В бледном свете стояла в кадке маленькая берёза, и я вдруг заметил – почти вся она за эту ночь пожелтела, и несколько лимонных листьев уже лежало на полу.

Комнатная теплота не спасла берёзу. Через день она обле­тела вся, как будто не хотела отставать от своих взрослых под­руг, осыпавшихся в холодных лесах, рощах, на сырых, по осе­ни просторных полянах.

Ваня Малявин, Рувим и все мы были огорчены. Мы уже свыклись с мыслью, что в зимние снежные дни берёза будет зеленеть в комнатах, освещённых белым солнцем и багровым пламенем весёлых печей. Последняя память о лете исчезла.

Знакомый лесничий усмехнулся, когда мы рассказали ему о своей попытке спасти зелёную листву на берёзе.

– Это закон,– сказал он.– Закон природы. Если бы де­ревья не сбрасывали на зиму листья, они бы погибали от мно­гих вещей – от тяжести снега, который нарастал бы на листь­ях и ломал самые толстые ветки, и от того, что к осени в лист­ве накапливалось бы много вредных для дерева солей, и, наконец, от того, что листья продолжали бы и среди зимы ис­парять влагу, а мёрзлая земля не давала бы её корням дерева, и дерево неизбежно погибло бы от зимней засухи, от жажды.

А дед Митрий, узнав об этой маленькой истории с берёзой, истолковал её по–своему.

– Ты, милок,– сказал он Рувиму,– поживи с моё, тогда и спорь. Взять, скажем, эту берёзу. Ты мне про лесничего не говори, я наперёд знаю, что он скажет. Лесничий мужик хит­рый, он, когда в Москве жил, так, говорят, на электрическом току пищу себе готовил. Может это быть или нет? – Может,– ответил Рувим.

Может, может! – передразнил его дед.– А ты этот электрический ток видал? Как же ты его видал, когда он ви­димости не имеет, вроде как воздух? Ты про берёзу слушай. Промежду людей есть дружба или нет? То–то что есть. А лю­ди заносятся. Думают, что дружба им одним дадена, чванятся перед всяким живым существом. А дружба – она, брат, кру­гом, куда ни глянешь. Убей журавля, так журавлиха исчах­нет, исплачется, места себе не найдёт. И у всякой травы и де­рева тоже, надо быть, дружба иногда бывает. Как же твоей бе­рёзе не облететь, когда все её товарки в лесах облетели? Какими глазами она на них весной взглянет, что скажет, ког­да они зимой исстрадались, а она грелась у печки, в тепле, да в сытости, да в чистоте? Тоже совесть надо иметь.

– Ну, это ты, дед, загнул,– сказал Рувим.– С тобой не столкуешься.

Дед захихикал.

– Ослаб? – спросил он язвительно.– Сдаёшься?

Дед ушёл, постукивая палкой, очень довольный, уверен­ный в том, что победил в этом споре нас всех и заодно с нами и лесничего.

Берёзу мы высадили в сад, под забор, а её жёлтые листья собрали и засушили между страниц «Вокруг света».

Этим и кончилась наша попытка сохранить зимой память о лете.

ТЕПЛЫЙ ХЛЕБ

Когда кавалеристы проходили через деревню Бережки, немецкий снаряд разорвался на околице и ранил в ногу вороного коня. Командир оставил раненого коня в деревне, а отряд ушел дальше, пыля и позванивая удилами, – ушел, закатился за рощи, за холмы, где ветер качал спелую рожь.

Коня взял к себе мельник Панкрат. Мельница давно не работала, но мучная пыль навеки въелась в Панкрата. Она лежала серой коркой на его ватнике и картузе. Из-под картуза посматривали на всех быстрые глаза мельника. Панкрат был скорый на работу, сердитый старик, и ребята считали его колдуном.

Панкрат вылечил коня. Конь остался при мельнице и терпеливо возил глину, навоз и жерди – помогал Панкрату чинить плотину.

Панкрату трудно было прокормить коня, и конь начал ходить по дворам побираться. Постоит, пофыркает, постучит мордой в калитку, и, глядишь, ему вынесут свекольной ботвы, или черствого хлеба, или, случалось даже, сладкую морковку. По деревне говорили, что конь ничей, а вернее – общественный, и каждый считал своей обязанностью его покормить. К тому же конь – раненый, пострадал от врага.

Жил в Бережках со своей бабкой мальчик Филька, по прозвищу Ну Тебя. Филька был молчаливый, недоверчивый, и любимым его выражением было: «Да ну тебя!» Предлагал ли ему соседский мальчишка походить на ходулях или поискать позеленевшие патроны, Филька отвечал сердитым басом: «Да ну тебя! Ищи сам!» Когда бабка выговаривала ему за неласковость, Филька отворачивался и бормотал: «Да ну тебя! Надоела!»

Зима в этот год стояла теплая. В воздухе висел дым. Снег выпадал и тотчас таял. Мокрые вороны садились на печные трубы, чтобы обсохнуть, толкались, каркали друг на друга. Около мельничного лотка вода не замерзала, а стояла черная, тихая, и в ней кружились льдинки.

Панкрат починил к тому времени мельницу и собирался молоть хлеб, – хозяйки жаловались, что мука кончается, осталось у каждой на два-три дня, а зерно лежит немолотое.

В один из таких теплых серых дней раненый конь постучал мордой в калитку к Филькиной бабке. Бабки не было дома, а Филька сидел за столом и жевал кусок хлеба, круто посыпанный солью.

Филька нехотя встал, вышел за калитку. Конь переступил с ноги на ногу и потянулся к хлебу. «Да ну тебя! Дьявол!» – крикнул Филька и наотмашь ударил коня по губам. Конь отшатнулся, замотал головой, а Филька закинул хлеб далеко в рыхлый снег и закричал:

– На вас не напасешься, на христарадников! Вон твой хлеб! Иди, копай его мордой из-под снега! Иди, копай!

И вот после этого злорадного окрика и случилось в Бережках те удивительные дела, о каких и сейчас люди говорят, покачивая головами, потому что сами не знают, было ли это, или ничего такого и не было.

Слеза скатилась у коня из глаз. Конь заржал жалобно, протяжно, взмахнул хвостом, и тотчас в голых деревьях, в изгородях и печных трубах завыл, засвистел пронзительный ветер, вздул снег, запорошил Фильке горло, Филька бросился обратно в дом, но никак не мог найти крыльца – так уже мело кругом и хлестало в глаза. Летела по ветру мерзлая солома с крыш, ломались скворечни, хлопали оторванные ставни. И все выше взвивались столбы снежной пыли с окрестных полей, неслись на деревню, шурша, крутясь, перегоняя друг друга.

Филька вскочил наконец в избу, припер дверь, сказал: «Да ну тебя!» – и прислушался. Ревела, обезумев, метель, но сквозь ее рев Филька слышал  тонкий и короткий свист, – так свистит конский хвост, когда рассерженный конь бьет им себя по бокам.

Метель начала затихать к вечеру, и только тогда смогла добраться к себе в избу от соседки Филькина бабка. А к ночи небо зазеленело, как лед, звезды примерзли к небесному своду, и колючий мороз прошел по деревне. Никто его не видел, но каждый слышал скрип его валенок по твердому снегу, слышал, как мороз, озоруя, стискивал толстые бревна в стенах, и они трещали и лопались.

Бабка, плача, сказала Фильке, что наверняка уже замерзли колодцы и теперь их ждет неминучая смерть. Воды нет, мука у всех вышла, а мельница работать теперь не сможет, потому что река застыла до самого дна. Филька тоже заплакал от страха, когда мыши начали выбегать из подпола и хорониться под печкой в соломе, где еще оставалось немного тепла. «Да ну вас! Проклятые!» – кричал он на мышей, но мыши все лезли из подпола. Филька забрался на печь, укрылся тулупчиком, весь трясся и слушал причитания бабки.

– Сто лет назад упал на нашу округу такой же лютый мороз, – говорила бабка. – Заморозил колодцы, побил птиц, высушил до корня лес и сады. Десять лет после того не цвели ни деревья, ни травы. Семена в земле пожухли и пропали. Голая стояла наша земля. Обегал ее стороной всякий зверь – боялся пустыни.

– Отчего же стрясся тот мороз? – спросил Филька.

– От злобы людской, – ответила бабка. – Шел через нашу деревню старый солдат, попросил в избе хлеба, а хозяин, злой мужик, заспанный, крикливый, возьми и дай одну только черствую корку. И то, не дал в руки, а швырнул на пол и говорит: «Вот тебе! Жуй!» – «Мне хлеб с полу поднять невозможно, – говорит солдат. – У меня вместо ноги деревяшка». – «А ногу куда девал?» – спрашивает мужик. «Утерял я ногу на Балканских горах в турецкой баталии », – отвечает солдат. «Ничего. Раз дюже голодный – подымешь, – засмеялся мужик. – Тут тебе камердинеров нету». Солдат покряхтел, изловчился, поднял корку и видит – это не хлеб, а одна зеленая  баталия. Один яд! Тогда солдат вышел на двор, свистнул – и враз сорвалась метель, пурга, буря закружила деревню, крыши посрывала, потом ударил лютый мороз. И мужик тот помер.

– Отчего же он помер? – хрипло спросил Филька.

– От охлаждения сердца, – ответила бабка, помолчала и добавила:

– Знать, и нынче завелся в Бережках дурной человек, обидчик, и сотворил злое дело. Оттого и мороз.

– Чего ж теперь делать, бабка? – спросил Филька из-под тулупа. – Неужто помирать?

– Зачем помирать? Надеяться надо.

– На что?

– На то, что поправит дурной человек свое злодейство.

– А как его исправить? – спросил, всхлипывая, Филька.

– А об этом Панкрат знает, мельник. Он старик хитрый, ученый. Его спросить надо. Да неужто в такую стужу до мельницы добежишь? Сразу кровь остановится.

– Да ну его, Панкрата! – сказал Филька и затих.

Ночью он слез с печи. Бабка спала, сидя на лавке. За окнами воздух был синий, густой, страшный. В чистом небе над осокорями  стояла луна, убранная, как невеста, розовыми венцами.

Филька запахнул тулупчик, выскочил на улицу и побежал к мельнице. Снег пел под ногами, будто артель веселых пильщиков пилила под корень березовую рощу за рекой. Казалось, воздух замерз и между землей и луной осталась одна пустота – жгучая и такая ясная, что если бы подняло пылинку на километр от земли, то и ее было бы видно и она светилась бы и мерцала, как маленькая звезда.

Черные ивы около мельничной плотины поседели от стужи. Ветки их поблескивали, как стеклянные. Воздух колол Фильке грудь. Бежать он уже не мог, а тяжело шел, загребая снег валенками.

Филька постучал в окошко Панкратовой избы. Тотчас в сарае за избой заржал и забил копытом раненый конь. Филька охнул, присел от страха на корточки, затаился. Панкрат отворил дверь, схватил Фильку за шиворот и втащил в избу.

– Садись к печке, – сказал он. – Рассказывай, пока не замерз.

Филька, плача, рассказал Панкрату, как он обидел раненого коня и как из- за этого упал на деревню мороз.

– Да-а, – вздохнул Панкрат, – плохо твое дело! Выходит, что из-за тебя всем пропадать. Зачем коня обидел? За что? Бессмысленный ты гражданин! Филька сопел, вытирал рукавом глаза.

– Ты брось реветь! – строго сказал Панкрат. – Реветь вы все мастера. Чуть что нашкодил – сейчас в рев. Но только в этом я смысла не вижу. Мельница моя стоит, как запаянная морозом навеки, а муки нет, и воды нет, и что нам придумать – неизвестно.

– Чего же мне теперь делать, дедушка Панкрат? – спросил Филька.

– Изобрести спасение от стужи. Тогда перед людьми не будет твоей вины. И перед раненой лошадью – тоже. Будешь ты чистый человек, веселый. Каждый тебя по плечу потреплет и простит. Понятно?

– Понятно, – ответил упавшим голосом Филька.

– Ну, вот и придумай. Даю тебе сроку час с четвертью.

В сенях у Панкрата жила сорока. Она не спала от холода, сидела на хомуте – подслушивала. Потом она боком, озираясь, поскакала к щели под дверью. Выскочила наружу, прыгнула на перильца и полетела прямо на юг. Сорока была опытная, старая и нарочно летела у самой земли, потому что от деревень и лесов все-таки тянуло теплом и сорока не боялась замерзнуть. Никто ее не видел, только лисица в осиновом яру высунула морду из норы, повела носом, заметила, как темной тенью пронеслась по небу сорока, шарахнулась обратно в нору и долго сидела, почесываясь и соображая, – куда ж это в такую страшную ночь подалась сорока?

А Филька в это время сидел на лавке, ерзал, придумывал.

– Ну, – сказал наконец Панкрат, затаптывая махорочную цигарку, – время твое вышло. Выкладывай! Льготного срока не будет.

– Я, дедушка Панкрат, – сказал Филька, – как рассветет, соберу со всей деревни ребят. Возьмем мы ломы, пешни , топоры, будем рубить лед у лотка около мельницы, покамест не дорубимся до воды и не потечет она на колесо. Как пойдет вода, ты пускай мельницу! Провернешь колесо двадцать раз, она разогреется и начнет молоть. Будет, значит, и мука, и вода, и всеобщее спасение.

– Ишь ты, шустрый какой! – сказал мельник. – Подо льдом, конечно, вода есть. А ежели лед толщиной в твой рост, что ты будешь делать?

– Да ну его! – сказал Филька. – Пробьем мы, ребята, и такой лед!

А ежели замерзнете?

– Костры будем жечь.

– А ежели не согласятся ребята за твою дурь расплачиваться своим горбом? Ежели скажут: «Да ну его! Сам виноват – пусть сам лед и скалывает».

– Согласятся! Я их умолю. Наши ребята – хорошие.

– Ну, валяй, собирай ребят. А я со стариками потолкую. Может, и старики натянут рукавицы да возьмутся за ломы.

В морозные дни солнце восходит багровое, в тяжелом дыму. И в это утро поднялось над Бережками такое солнце. На реке был слышен частый стук ломов. Трещали костры. Ребята и старики работали с самого рассвета, скалывали лед у мельницы. И никто сгоряча не заметил, что после полудня небо затянулось низкими облаками и задул по седым ивам ровный и теплый ветер. А когда заметили, что переменилась погода, ветки ив уже оттаяли, и весело, гулко зашумела за рекой мокрая березовая роща. В воздухе запахло весной, навозом.

Ветер дул с юга. С каждым часом становилось все теплее. С крыш падали и со звоном разбивались сосульки. Вороны вылезли из-под застрех  и снова обсыхали на трубах, толкались, каркали.

Не было только старой сороки. Она прилетела к вечеру, когда от теплоты лед начал оседать, работа у мельницы пошла быстро, и показалась первая полынья с темной водой.

Мальчишки стащили треухи и прокричали «ура». Панкрат говорил, что если бы не теплый ветер, то, пожалуй, и не обколотить бы лед ребятам и старикам. А сорока сидела на раките над плотиной, трещала, трясла хвостом, кланялась на все стороны и что-то рассказывала, но никто, кроме ворон, ее не понял. А сорока рассказывала, что она долетела до теплого моря, где спал в горах летний ветер, разбудила его, натрещала ему про лютый мороз и упросила его прогнать этот мороз, помочь людям.

Ветер будто бы не осмелился отказать ей, сороке, и задул, понесся, над полями, посвистывая и посмеиваясь над морозом. И если хорошенько прислушаться, то уже слышно, как по оврагам под снегом бурлит-журчит теплая вода, моет корни брусники, ломает лед на реке. Всем известно, что сорока – самая болтливая птица на свете, и потому вороны ей не поверили – покаркали только между собой, что вот, мол, опять завралась старая.

Так до сих пор никто и не знает, правду ли говорила сорока, или все это она выдумала от хвастовства. Одно только известно, что к вечеру лед треснул, разошелся, ребята и старики нажали – и в мельничный лоток хлынула с шумом вода.

Старое колесо скрипнуло – с него посыпались сосульки – и медленно повернулось. Заскрежетали жернова, потом колесо повернулось быстрее, еще быстрее, и вдруг вся старая мельница затряслась, заходила ходуном и пошла стучать, скрипеть, молоть зерно.

Панкрат сыпал зерно, а из-под жернова лилась в мешки горячая мука. Женщины окунали в нее озябшие руки и смеялись.

По всем дворам кололи звонкие березовые дрова. Избы светились от жаркого печного огня. Женщины месили тугое сладкое тесто. И все, что было живого в избах – ребята, кошки, даже мыши, – все это вертелось около хозяек, а хозяйки шлепали ребят по спине белой от муки рукой, чтобы не лезли в самую квашню и не мешались.

Ночью по деревне стоял такой запах теплого хлеба с румяной коркой, с пригоревшими к донцу капустными листьями, что даже лисицы вылезли из нор, сидели на снегу, дрожали и тихонько скулили, соображая, как бы словчиться стащить у людей хоть кусочек этого чудесного хлеба.

На следующее утро Филька пришел вместе с ребятами к мельнице. Ветер гнал по синему небу рыхлые тучи и не давал им ни на минуту перевести дух, и потому по земле неслись вперемежку то холодные тени, то горячие солнечные пятна.

Филька тащил буханку свежего хлеба, а совсем маленький мальчик Николка держал деревянную солонку с крупной желтой солью. Панкрат вышел на порог, спросил:

– Что за явление? Мне, что ли хлеб-соль подносите? За какие услуги?

– Да нет! – закричали ребята. – Тебе будет особо. А это раненому коню. От Фильки. Помирить мы их хотим.

– Ну что ж, – сказал Панкрат. – Не только человеку извинение требуется. Сейчас я вам коня представлю в натуре.

Панкрат отворил ворота сарая, выпустил коня. Конь вышел, вытянул голову, заржал, учуял запах свежего хлеба. Филька разломил буханку, посолил хлеб из солонки и протянул коню. Но конь хлеба не взял, начал мелко перебирать ногами, попятился в сарай. Испугался Фильки. Тогда Филька перед всей деревней громко заплакал. Ребята зашептались и притихли, а Панкрат потрепал коня по шее и сказал:

– Не пужайся, Мальчик! Филька – не злой человек. Зачем же его обижать? Бери хлеб, мирись!

Конь помотал головой, подумал, потом осторожно вытянул щею и взял, наконец, хлеб из рук Фильки мягкими губами. Съел один кусок, обнюхал Фильку и взял второй кусок. Филька ухмылялся сквозь слезы, а конь жевал хлеб, фыркал. А когда съел весь хлеб, положил голову Фильке на плечо, вздохнул и закрыл глаза от сытости и удовольствия.

Все улыбались, радовались. Только старая сорока сидела на раките и сердито трещала: должно быть, опять хвасталась, что это, ей одной удалось помирить коня с Филькой. Но никто ее не слушал, и сорока от этого сердилась все больше и трещала, как пулемет.

КАКИЕ БЫВАЮТ ДОЖДИ

(Отрывок из повести «Золотая роза»)

...Солнце садится в тучи, дым припадает к земле, ласточки летают низко, без времени голосят по дворам петухи, облака вытягиваются по небу длинными туманными прядями — всё это приметы дождя. А незадолго перед дождём, хотя ещё и не натянуло тучи, слышится нежное дыхание влаги. Его, должно быть, приносит оттуда, где дожди уже про­лились.

Но вот начинают крапать первые капли. Народное слово «крапать» хорошо передаёт возникновение дождя, когда ещё редкие капли оставляют тёмные крапинки на пыльных доро­гах и крышах.

Потом дождь расходится. Тогда-то и возникает чудесный прохладный запах земли, впервые смоченной дождём. Он держится недолго. Его вытесняет запах мокрой травы, особенно крапивы.

Характерно, что независимо от того, какой будет дождь, его, как только он начинается, всегда называют очень лас­ково — дождиком. «Дождик собрался», «дождик припустил», «дождик траву обмывает»...

Чем, например, отличается спорый дождь от грибного?

Слово «спорый» означает — быстрый, скорый. Спорый дождь льётся отвесно, сильно. Он всегда приближается с набегающим шумом.

Особенно хорош спорый дождь на реке. Каждая его капля выбивает в воде круглое углубление, маленькую водяную чашу, подскакивает, снова падает и несколько мгновений, прежде чем исчезнуть, ещё видна на дне этой водяной чаши. Капля блестит и похожа на жемчуг.

При этом по всей реке стоит стеклянный звон. По высоте этого звона догадываешься, набирает ли дождь силу или стихает.

А мелкий грибной дождь сонно сыплется из низких туч. Лужи от этого дождя всегда тёплые. Он не звенит, а шепчет что-то своё, усыпительное, и чуть заметно возится в кус­тах, будто трогает мягкой лапкой то один лист, то дру­гой.

Лесной перегной и мох впитывают этот дождь, не торопясь, основательно. Поэтому после него начинают буйно лезть грибы — липкие маслята, жёлтые лисички, боровики, румя­ные рыжики, опёнки и бесчисленные поганки.

Во время грибных дождей в воздухе попахивает дымком и хорошо берёт хитрая и осторожная рыба — плотва.

О слепом дожде, идущем при солнце, в народе говорят: «Царевна плачет». Сверкающие солнечные капли этого дож­дя похожи на крупные слёзы. А кому же и плакать такими сияющими слезами горя или радости, как не сказочной красавице царевне!

Можно подолгу следить за игрой света во время дождя, за разнообразием звуков — от мерного стука по тесовой крыше и жидкого звона в водосточной трубе до сплошного, напряжённого гула, когда дождь льёт, как говорится, стеной.

Всё это — только ничтожная часть того, что можно сказать о дожде...

Подарок

Каждый раз, когда приближалась осень, начинались разговоры о том, что многое в природе устроено не так, как нам бы хотелось. Зима у нас длинная, затяжная, лето гораздо короче зимы, а осень проходит мгновенно и оставляет впечатление промелькнувшей за окном золотой птицы.

Разговоры наши любил слушать внук лесника Ваня Малявин, мальчик лет пятнадцати. Он часто приходил к нам в деревню из дедовской сторожки с Урженского озера и приносил то кошёлку белых грибов, то решето брусники, а то прибегал просто так — погостить у нас, послушать разговоры и почитать журнал «Вокруг света»...

Однажды Ваня принёс маленькую, выкопанную с корнем берёзу. Корни он обложил сырым мхом и обернул рогожей.

- Это вам, — сказал он и покраснел. — Подарок. Поса­дите её в деревянную кадку и поставьте в тёплой комнате — она всю зиму будет зелёная.

- Зачем ты её выкопал, чудак? — спросил Рувим.

- Вы же говорили, что вам жалко лета, — ответил Ваня. — Дед меня и надоумил. «Сбегай, говорит, на прошлогоднюю гарь, там берёзы-двухлетки растут, как трава, — проходу от них нет никакого. Выкопай и отнеси Руму Исаевичу (так дед называл Рувима). Он о лете беспокоится, вот и будет ему на студеную зиму летняя память. Оно, конечно, весело поглядеть на зелёный лист, когда во дворе снег валит как из мешка».

- Я не только о лете, я ещё больше об осени жалею, —
сказал Рувим и потрогал тоненькие листья берёзы.

Мы принесли из сарая ящик, насыпали его доверху землёй и пересадили в него маленькую берёзу. Ящик поста­вили в самой светлой и тёплой комнате у окна, и через день опустившиеся ветви берёзы поднялись, вся она повеселела, и даже листья у неё уже шумели, когда сквозной ветер врывался в комнату и в сердцах хлопал дверью.

В саду поселилась осень, но листья нашей берёзы оставались зелёными и живыми. Горели тёмным пурпуром клёны, порозовел бересклет, ссыхался дикий виноград на беседке. Даже кое-где на берёзах в саду появились жёлтые пряди, как первая седина у ещё нестарого человека. Но берёза в комнате, казалось, всё молодела. Мы не замечали у неё никаких признаков увядания.

Как-то ночью пришёл первый заморозок. Он надышал холодом на стёкла в доме, и они запотели, посыпал зернистым инеем крыши, захрустел под ногами. Одни только звёзды как будто обрадовались первому морозу и сверкали гораздо ярче, чем в теплые летние ночи. В эту ночь я проснулся от протяжного и приятного звука — пастуший рожок пел в темноте. За окнами едва заметно голубела заря.

Я оделся и вышел в сад. Резкий воздух обмыл лицо холодной водой — сон сразу прошёл. Разгорался рассвет. Синева на востоке сменилась багровой мглой, похожей на дым пожара. Мгла эта светлела, делалась всё прозрачнее, сквозь неё уже видны далёкие и нежные страны золотых и розовых облаков.

Ветра не было, но в саду всё падали и падали листья. Берёзы за одну эту ночь пожелтели до самых верхушек, и листья осыпались с них частым и печальным дождём.

Я вернулся в комнаты: в них было тепло, сонно. В бледном свете зари стояла в кадке маленькая берёза, и я вдруг заметил — почти вся она за эту ночь пожелтела, и несколько лимонных листьев уже лежало на полу.

Комнатная теплота не спасла берёзу. Через день она облетела вся, как будто не хотела отставать от своих взрослых подруг, осыпавшихся в холодных лесах, рощах, на сырых по осени просторных полянах.

Ваня Малявин, Рувим и все мы были огорчены. Мы уже свыклись с мыслью, что в зимние снежные дни берёза будет зеленеть в комнатах, освещенных белым солнцем и багровым пламенем весёлых печей. Последняя память о лете исчезла.

Знакомый лесничий усмехнулся, когда мы рассказали ему о своей попытке спасти зелёную листву на берёзе.

- Это закон, — сказал он. — Закон природы. Если бы деревья не сбрасывали на зиму листья, они бы погибли от многих вещей — от тяжести снега, который нарастал бы на листьях и ломал самые толстые ветки, и от того, что к осени в листве накапливалось бы много вредных для дерева солей, и, наконец, от того, что листья продолжали бы и среди зимы испарять влагу, а мёрзлая земля не давала бы её корням дерева, и дерево неизбежно погибло бы от зимней засухи, от жажды.

А дед Митрий....узнав об этой маленькой истории с берёзой, истолковал её по-своему.

- Ты, милок, — сказал он Рувиму, — поживи с моё, тогда и спорь. А то ты со мной всё споришь, а видать, что умом пораскинуть у тебя ещё времени не хватило. Нам, старым, думать способнее. У нас заботы мало — вот и при­кидываем, что к чему на земле притёсано и какое имеет объяснение. Взять, скажем, эту берёзу. Ты мне про лесничего не говори, я наперёд знаю всё, что он скажет... Ты про берёзу слушай. Промеж людей есть дружба или нет? То-то что есть. А люди заносятся. Думают, что дружба им одним дадена, чванятся перед всяким живым существом. А дружба — она,
брат, кругом, куда ни глянешь. Уж что говорить, корова с коровой дружит и зяблик с зябликом. Убей журавля, так журавлиха исчахнет, исплачется, места себе не найдет. И у всякой травы и дерева тоже, надо быть, дружба иногда быва­ет. Как же твоей берёзе не облететь, когда все её товарки в лесах облетели? Какими глазами она весной на них взглянет, что скажет, когда они зимой исстрадались, а она грелась у печки в тепле, да в сытости, да в чистоте? Тоже совесть надо иметь.

- Ну, это ты, дед, загнул, — сказал Рувим. — С тобой не столкуешься. Дед захихикал.

- Ослаб? — спросил он язвительно. — Сдаёшься? Ты со
мной не заводись — бесполезное дело.

Дед ушёл, постукивая палкой, очень довольный, уверен­ный в том, что победил в этом споре нас всех и заодно с нами и лесничего.

Берёзку мы высадили в сад, под забор, а её жёлтые листья собрали и засушили между страниц «Вокруг света».

Этим и кончилась наша попытка сохранить зимой память о лете.

СИВЫЙ МЕРИН

Мне казалось, что если мерин о чем-нибудь и думает, то, главным образом, о людской неблагодарности и бестолковости. Что он слышал за всю свою жизнь? Одни только несправедливые окрики: «Куда, дьявол!», «Заелся на хозяйских хлебах!», «Овса ему захотелось – подумаешь, какой барин!» Стоило ему оглянуться, как его хлестали вожжой по потному боку, и раздавался все один и тот же угрожающий крик: «Но-о, оглядывайся у меня»! Даже пугаться ему запрещалось – тотчас возница начинал накручивать вожжами над головой и начинать кричать тонким злорадным голосом: «Боишьси-и, черт!» Хомут всегда затягивали, упираясь в него грязным сапогом, дергая голову, и тем же сапогом толкали мерина в брюхо, чтобы он не надувал его, когда затягивали подпругу. Благодарности не было. А он всю жизнь таскал, хрипя и надсаживаясь, по пескам, по грязи, по липкой глине, по косогорам, по «битым» дорогам и кривым проселкам скрипучие, плохо смазанные телеги с сеном, картошкой, яблоками и капустой. Иногда в песках, он останавливался отдохнуть. Бока его тяжело ходили, от гривы подымался пар, но возницы со свистом вытягивали его ремённым кнутом по дрожащим ногам и хрипло, с наигранной яростью кричали: «Но-о, идол, нет на тебя гибели!» И мерин, рванувшись, тащил телегу дальше.

Начало быстро светать. Звезды бледнели, как бы уходили от земли в глубину неба. Неожиданно над головой, на огромной высоте, загорелось нежным розовым светом одинокое маленькое облачко, похожее на пух. Там, в вышине, уже светило летнее солнце, а на земле еще стоял сумрак, и роса капала с громким шорохом с белых зонтичных цветов дягиля в темную, настоявшуюся за ночь воду.

Мерин опустил голову к самой земле, из его глаза выкатилась одинокая старческая слеза, и он уснул.

Утром, когда роса горела от солнца на травах так сильно, что весь воздух вокруг был полон влажного блеска, мерин проснулся и громко заржал. Из лугов шел к нему с недоуздком, перекинутым через плечо, колхозный конюх Петю, недавно вернувшийся из армии белобрысый красноармеец. Мерин пошел к нему навстречу потерся головой о плечо Пети и безропотно дал надеть на себя недоуздок.

Петя привязал его к изгороди около стога, а сам подошел к нам – покурить и побеседовать насчет клёва.

- Вот вы, я гляжу, - сказал он, сплевывая, - ловите на шелковый шнур, а наши огольцы плетут лески из конского волоса. У мерина весь хвост повыдергали, черта! Скоро обмахнуться от овода – и то будет нечем.

- Старик свое отработал, - сказал я.

- Известно, отработал, - согласился Петя. – Старик хороший, душевный.

Он помолчал. Мерин оглянулся на него и тихо заржал.

- Подождешь, - сказал Петя. – Работы с тебя никто не спрашивает – ты и молчи.

- А что он, болен, что ли? – спросил Рувим.

- Да нет, не болен, - ответил Петя, - а только тяги у него уже не хватает. Отслужил. Председатель колхоза – ну, знаете, этот сухорукий, - хотел, было отправить его к коновалу, снять шкуру, а я воспрепятствовал. Не то чтобы жалко, а так… Все-таки снисхождение к животному надо иметь. Для людей – дома отдыха, а для него что? Шиш! Так, значит, и выходит – всю жизнь запаривайся, а как пришла старость – так под нож. «Нет, говорю, Леонтий Кузьмич, не имеешь ты в себе окончательной правды. Ты, говорю, за копейкой гонись, но и совесть свою береги. Отдай мне этого мерина, пусть он у меня поживет на вольном воздухе, попасется, - ему и жить-то осталось всего ничего». Поглядите, даже морда у него и кругом седая.

- Ну и что же председатель? – спросил Рувим.

- Согласился. «Только, говорит, я тебе для него не дам ни полпуда овса. Это уже, говорит, похоже на расточительство». – «А мне, говорю, на ваш овес как будто наплевать, я своим кормить буду». Так вот и живет у меня. Моя старуха, мамаша, сначала скрипела: зачем, мол, этого дармоеда на дворе держим, а сейчас обвыкла, даже разговаривает с ним, с мерином, когда меня нет. Поговорить, знаете, не с кем, вот она ему и рассказывает всякую всячину. А он и рад слушать… Но-о, дьявол! – неожиданно закричал Петя.

Мерин, ощерил желтые зубы, тихонько грыз изгородь около стога. Петя поднялся.

- Два дня в лугах погулял, теперь пусть постоит во дворе, в сарае, - сказал он и протянул мне черную от дегтя руку. – Прощайте.

Он увел мерина. Тихое утро было полно свежести, будто воздух промыли родниковой водой. В озере стояли и отражались в воде белые, как первый снег, цветы водокраса. Под ними медленно проплывали маленькие, вычеканенные из золота лини. И где-то уже далеко, в цветущих густых лугах, добродушно заржал мерин.

ЗАЯЧЬИ ЛАПЫ

К ветеринару в наше село пришел с Урженского озера Ваня Малявин и принес завернутого в рваную ватную куртку маленького теплого зайца. Заяц плакал и часто моргал красными от слез глазами…

– Ты что, одурел? – крикнул ветеринар. – Скоро будешь ко мне мышей таскать, оголец!

– А вы не лайтесь, это заяц особенный, – хриплым шепотом сказал Ваня. – Его дед прислал, велел лечить.

– От чего лечить-то?

– Лапы у него пожженные.

Ветеринар повернул Ваню лицом к двери, толкнул в спину и прикрикнул вслед:

– Валяй, валяй! Не умею я их лечить. Зажарь его с луком – деду будет закуска.

Ваня ничего не ответил. Вышел в сени, заморгал глазами, потянул носом и уткнулся в бревенчатую стену. По стене потекли слезы. Заяц тихо дрожал под засаленной курткой.

– Ты чего, малый? – спросила Ваню жалостливая бабка Анисья; она привела к ветеринару свою единственную козу. – Чего вы, сердешные, вдвоем слезы льете? Ай, случилось что?

– Пожженный он, дедушкин заяц, – сказал тихо Ваня. – На лесном пожаре лапы себе пожег, бегать не может. Вот-вот, гляди, умрет.

– Не умрёть, малый, - прошамкала Анисья. – Скажи дедушке своему, ежели большая у него охота зайца выходить, пущай несет его в город к Карлу Петровичу.

Ваня вытер слезы и пошел лесами домой, на Урженское озеро. Он не шел, а бежал босиком по горячей песчаной дороге.

Наутро дед надел чистые онучи и новые лапти, взял посох и кусок хлеба и побрел в город. Ваня нес зайца сзади.

Заяц совсем притих, только изредка вздрагивал всем телом и судорожно вздыхал…

Карл Петрович играл на рояле нечто печальное и мелодичное, когда в окне появилась растрепанная борода деда.

Через минуту Карл Петрович уже сердился:

– Я не ветеринар, – сказал он и захлопнул крышку рояля. Тот час же в лугах проворчал гром. – Я всю жизнь лечил детей, а не зайцев.

– Что ребенок, что заяц – все одно, – упрямо пробормотал дед. – Все одно! Полечи, яви милость! Ветеринару нашему такие дела неподсудны. Он у нас коновал. Этот заяц, можно сказать, спаситель мой: я ему жизнью обязан, благодарность обязывать должен, а ты говоришь бросить!

Еще через минуту Карл Петрович, старик с седыми взъерошенными бровями, волнуясь, слушал спотыкающийся рассказ деда.

Карл Петрович, в конце концов, согласился лечить зайца. На следующее утро дед ушел на озеро, а Ваню оставил у Карла Петровича ходить за зайцем.

Через день вся Почтовая улица, заросшая густой травой, уже знала, что Карл Петрович лечит зайца, обгоревшего на страшном лесном пожаре и спасшего какого-то старика. Через два дня об этом уже знал весь маленький город, а на третий день к Карлу Петровичу пришел длинный юноша в фетровой шляпе, назвался студентом московской газеты и попросил дать беседу о зайце.

Зайца вылечили. Ваня завернул его в ватное тряпье и понес домой. Вскоре историю о зайце забыли, и только какой-то московский профессор долго добивался от деда, чтобы тот ему продал зайца. Присылал даже письма с марками на ответ. Но дед не сдавался. Под его диктовку Ваня написал профессору письмо: «Заяц не продажный, живая душа, пусть живет на воле. При сем остаюсь Ларион Малявин».

Этой осенью я ночевал у деда Лариона на Урженском озере. Созвездия, холодные, как крупинки льда, плавали в воде. Шумел сухой тростник. Утки зябли в зарослях и жалобно крякали всю ночь.

Деду не спалось. Он сидел у печки и чинил рваную рыболовную сеть. Потом поставил самовар – от него окна в избе сразу запотели и звезды из огненных точек превратились в мутные шары. Во дворе лаял Мурзик. Он прыгал в темноту, лязгал зубами и отскакивал – воевал с непроглядной октябрьской ночью. Заяц спал в сенях и изредка во сне громко стучал задней лапой по гнилой половице.

Мы пили чай ночью, дожидаясь далекого и нерешительного рассвета, и за чаем дед, наконец, рассказал мне историю о зайце.

В августе дед пошел охотиться на северный берег озера. Леса стояли сухие, как порох. Деду попался зайчонок с рваным левым ухом. Дед выстрелил в него из старого, связанного проволокой ружья. Но промахнулся. Заяц удрал. Дед пошел дальше. Но вдруг затревожился: с юга, со стороны Лопухов, сильно тянуло гарью. Поднялся ветер. Дым густел, его уже несло белой пеленой по лесу, затягивало кусты. Стало трудно дышать. Дед понял, что начался лесной пожар и огонь идет прямо на него. Ветер перешел в ураган. Огонь гнало по земле с неслыханной скоростью. По словам деда, даже поезд не мог бы уйти от такого огня. Дед был прав: во время урагана огонь шел со скоростью тридцати километров в час. Дед побежал по кочкам, спотыкался, падал, дым выедал ему глаза, а сзади был уже слышен широкий гул и треск пламени. Смерть настигала деда, хватала его за плечи, и в это время из-под ног деда выскочил заяц. Он бежал медленно и волочил задние лапы. Потом только дед заметил, что они у зайца обгорели. Дед обрадовался зайцу, как родному. Как старый лесной житель, дед знал, что звери гораздо лучше человека чуют, откуда идет огонь, и всегда спасаются. Гибнут они только в тех редких случаях, когда огонь их окружает.

Дед побежал за зайцем. Он бежал, плакал от страха и кричал: «Погоди милый, не беги так-то шибко!». Заяц вывел деда из огня. Когда они выбежали из леса к озеру, заяц и дед – оба упали от усталости. Дед подобрал зайца и понес домой. У зайца были опалены задние ноги и живот. Потом дед его вылечил и оставил у себя.

– Да, – сказал дед, поглядывая на самовар так сердито, будто самовар был всему виной, – да, а перед тем зайцем, выходит, я сильно провинился, милый человек.

– Чем же ты провинился?

– А ты ведь, погляди на зайца, на спасителя моего, тогда узнаешь. Бери фонарь!

Я взял со стола фонарь и вышел в сенцы. Заяц спал. Я нагнулся над ним с фонарем и заметил, что левое ухо у зайца рваное. Тогда я понял все.

Часто осенью я пристально следил за опадающими листьями чтобы поймать ту незаметную долю секунды, когда лист отделяется от ветки и начинает падать на землю, но это мне долго не удавалось. Я читал в старых книгах о том, как шуршат падающие листья, но я никогда не слышал этого звука. Если листья и шуршали, то только на земле, под ногами человека. Шорох листьев в воздухе казался мне таким же неправдоподобным, как рассказы о том, что, весной слышно, как прорастает трава.

Я был, конечно, не прав. Нужно было время, чтобы слух, отупевший от скрежета городских улиц, мог отдохнуть и уловить очень чистые и точные звуки осенней земли.

Как-то поздним вечером я вышел в сад к колодцу. Я поставил на сруб тусклый керосиновый фонари «летучую мышь» и достал воды. В ведре плавали листья. Они были всюду. От них нигде нельзя было избавиться. Чёрный хлеб из пекарни приносили с прилипши­ми к нему мокрыми листьями. Ветер бросал горсти листьев на стол, на койку, на пол, на книги, а по дорожкам сада было трудно ходить: приходилось идти по листьям, как по глубокому снегу. Листья мы находили в карманах своих дождевых плащей, в кепках, в волосах - всюду. Мы спали на них и насквозь пропитались их запахом.

Бывают осенние ночи, оглохшие и немые….стоит над чёрным лесистым краем, и … ушки сторожа доносится с деревенской околицы.

Была такая ночь. Фонарь освещал колодец, старый клён под забором и растрёпанный ветром куст настурции на пожелтевшей клумбе.

Я посмотрел на клён и увидел, как осторожно и медленно отделился от ветки красный лист, вздрогнул, на одно мгновение остановился а воздухе и косо начал падать к моим ногам, чуть шелестя и качаясь. Впервые я услыхал шелест падающего листа - неясный звук, похожий на детский шепот.

САМОЕ ДОРОГОЕ

На горе-горушке, близ лесной опушки, от всех дорог в стороне, в глухой деревушке, жили-были старик со старухой.

Старик ивовые прутья резал, корзинки плёл, старуха лён пряла да ткала. Тем и кормились. Говорит старуха старику:

– Дед, трудно нам стало работать: у меня прялка сломалась, а у тебя, гляди-ка, ручка у ножа треснула, едва держится. Сходи-ка ты в лес, сруби деревцо, сделаем новую прялку да ручку к ножу.

Пошёл старик в лес. Приглядел он хорошее деревцо. Только замахнулся топором, а из чащи Лесной Дед выходит. Был тот Дед в мохнатые ветки одет, в волосах шишки еловые, в бороде шишки сосновые, седые усы до земли висят, глаза огоньками зелёными горят.

– Не трогай, – говорит, – старичок, моих деревьев: ведь они тоже живые, тоже жить хотят. Лучше попроси у меня, чего тебе надобно, – всё тебе дам.

Удивился старик, обрадовался. Пошёл домой со старухой посо­ветоваться.

Сели они рядком перед избой на лавочку. Старик и спраши­вает:

– Ну, старуха, чего мы у Лесного Деда просить будем? Хочешь, много-много денег выпросим? Он даст!

– А на что нам, старик, много-много денег? Нам их и прятать негде. Да и бояться по ночам будем, что их воры утащат. Нет, старик, не надо нам денег.

– Ну, хочешь, попросим большое-пребольшое стадо коров да овец?

– Да что ты старик! На что нам большое-пребольшое стадо? Нам с ним и не управиться будет. Есть у нас коровушка – молока даёт, есть шесть овечек – шерсть дают. На что нам больше? Не надо.

– А может быть, хочешь, старуха, мы у Лесного Деда тысячу курочек попросим?

– Да чего ты, старик, надумал, опомнись! Чем же мы их кормить-то станем? Есть у нас три курочки-хохлатки, есть Петя-петушок – нам и довольно.

Думали, думали старик со старухой - ничего придумать, не могут: всё, что нужно, у них есть, а чего нет, то они своими трудами всегда заработать могут. Встал старик и говорит:

– Я, старуха, придумал, чего у Лесного Деда просить надо. Пошёл он в лес. А навстречу ему Лесной Дед – в мохнатые ветки одет, в волосах шишки еловые, в бороде шишки сосновые, седые усы до земли висят, глаза огоньками зелёными горят.

– Ну, как, мужичок, надумал, чего тебе надобно?

– Надумал, – старик говорит, – сделай так, чтобы наши прялка да ножик никогда не ломались да чтобы руки у нас всегда здоровыми были, тогда мы всё, что нам нужно, сами себе заработаем.

– Будь, по-твоему, – Лесной Дед отвечает.

И живут с тех пор старик со старухой – старик ивовые прутья режет, корзинки плетёт, старуха шерсть прядёт, рукавицы вяжет. Тем и кормятся.

И хорошо живут, счастливо.

ВАНЮША И ЦАРЕВНА

Слетались птицы с моря, Садились у нас на заборе. Пели птицы, сказывали птицы Песни да сказки, были да небылицы. А птица синица села на кочку И рассказала про Ванюшку И царскую дочку...

Жила-была в одной деревне крестьянка Марья. И был у неё сынок Ванюшка. Хороший парень вырос – красивый, здоровый, работящий. Вот приходит он раз к матери и говорит:

– Матушка! А я жениться хочу.

– Так что ж, Ванюшка, женись, голубчик. Невест-то всяких много: есть и в нашей деревне, и в соседней есть, и за лесом есть, и за речкой есть. Выбирай любую.

– Нет, матушка, – Ванюшка отвечает, – не хочу я жениться на деревенской девице, а хочу жениться на царской дочке.

– Ну что ж, Ванюшка, пойди, посватайся, попытай счастья... Собрала ему мать котомку дорожную, положила хлеба, мяса, луковку. И пошёл наш Ванюшка царевну искать.

Идёт он лесами, идёт горами – смотрит, стоит большущий дво­рец; стены золочёные, крыша хрустальная, на крыше птичка золо­тая сидит, крылечки все резные, окошки расписные. Красота! А кру­гом слуг видимо-невидимо. Ванюшка у них и спрашивает:

– Никак это дворец? Царь-то тут живет?

– Да, известное дело: тут дворец и царь в нём с дочкой живёт.

– С дочкой? – Ванюшка говорит. – Вот и хорошо. Бегите вы к ней, скажите, пришёл, мол, Ванюшка, Марьин сын. Жениться на ней хочу.

Побежали слуги. И выходит на крылечко царская дочка.

Матушка, до чего красота-девушка! Сама толстущая-толстущая, не в каждую дверь пролезет, щёки пухлые, красные, глазки малень­кие чуть виднеются. А носик так весело кверху торчит.

Поглядел на неё Ванюшка, говорит:

– Ты царская дочка? А я на тебе жениться хочу.

– Ну, – отвечает царская дочка, - пойдем в горницу, посидим, побеседуем,

Входят они в горницу. А там стол стоит, самовар на столе и всякое-то угощенье разложено: и лепёшки, и ватрушки, и рыжики солёные...

Уселись они, Ванюшка и спрашивает:

– Ты невеста богатая? Платьев-то много у тебя нашито?

– А ещё бы не много, – царская дочка отвечает, – я ведь не беднячка – царская дочка. Вот утром встану, новое платье надену и – к зеркалу. Погляжусь на себя, полюбуюсь – да другое платье надену, да к другому зеркалу. Да потом третье, да четвёртое... Вот так целый день до вечера наряжаюсь да в зеркала гляжусь.

– Целый день наряжаешься? – Ванюшка говорит. – А когда же ты работаешь-то?

Рассмеялась царская дочка:

– Работать? Ой, Ванюшка, какое ты слово-то нехорошее сказал! Я, Ванюшка, ничего делать не умею. У меня всё слуги делают.

– Вот беда, – Ванюшка говорит, – а как женимся мы, поедем в деревню, так ты сумеешь хлеб-то спечь? Печку ль растопить сможешь?

Хохочет царская дочка:

– Хлеб? В печку? Да что ты, Ванюшка! Ведь в печке дрова горят, а сунешь туда хлеб – сразу углем станет. Мне царь-тятенька говорил - хлеб-то на ёлках растёт.

– На ёлках? – Ванюшка спрашивает. – Что-то не видал я таких ёлок. Ну а скажи-ка мне: как ты чай-то пьёшь? Вприкуску или внакладку?

– И не вприкуску, Ванюшка, и не внакладку. Вон у меня в потолке крючочек, а с крючочка верёвочка висит: как я захочу сладкого чаю, привяжут мне слуги к этой верёвочке целую сахар­ную голову. Голова висит над столом, болтается, а я пососу её и пью, пососу да и пью...

Ванюшка и глаза выпучил.

– Это, – говорит, – как же? Откуда же я тебе столько сахару доставать буду? Нет, видно, ты к нашим порядкам не приучена. А скажи: хорошая ли ты рукодельница? Нашила себе в приданое оде­ял, подушек?..

А царская дочка только руками машет:

– Да что ты, Ванюшка! Стану я, царская дочка, на постели спать!

– А ты как же, – Ванюшка спрашивает, – без постели? На полу, что ли? Или в сене на сеновале?

– Нет, Ванюшка, и не на полу, и не на сеновале. У меня целая комната пухом набита. Вот я войду в нее, в пух нырну – да вынырну, нырну – да вынырну... Вот так и сплю.

– Вот беда, – Ванюшка говорит, – это ты мне целую избу пухом набьёшь? Да как же мы в такой избе жить-то станем? Нет, видно, ты хозяйка плохая. Может, ты хоть грамотна хорошо? Так возьму я тебя в деревню, станешь наших ребят в школе грамоте учить.

– Да что ты, Ванюшка, опомнись! Стану я, царская дочка, деревенских ребят учить! Да, по совести сказать, я, Ванюшка, и не шибко грамотна.

Удивляется Ванюшка:

– Не шибко грамотна? Экая выросла большущая, толстущая, а не учёная?

– Да я, Ванюшка, девушка умная, разумная, понятливая, а только учил-то меня царь-тятенька, а тятенька у нас сам малогра­мотный, вот я неучёная и осталась.

Сидит Ванюшка, раздумывает, говорит:

– Должен я домой идти, с маменькой посоветоваться, подходя­щая ли ты мне невеста.

– Пойди, Ванюшка, посоветуйся, да только завтра, навер­ное, назад ко мне приедешь: лучше-то меня невесты нигде не найдешь.

Вот приходит Ванюшка домой, говорит матери:

– Ну, матушка, видал я царскую дочку! Не девица, а горе одно. Целый день наряжается да в зеркала глядится, работать ничего не умеет, говорит – хлеб на ёлках растёт. Да за чаем-то целую сахарную голову на верёвочке болтает да сосёт. Да спит-то не на посте­
ли, а куда-то в пух ныряет да выныривает. И грамоте не знает! Ну на что мне, матушка, такую невесту?

А Марья смеётся, отвечает:

– Ладно, Ванюшка, ладно, голубчик, я сама тебе невесту найду. Поискала мать по деревне и нашла девушку Настеньку: такую умницу-разумницу, грамотную и хозяйку хорошую. Вот женился Ванюшка, да и зажил счастливо.

А царская-то дочка с того дня, говорят, каждое утро на кры­лечко выходила да по сторонам глядела: где же Ванюшка? Куда ушёл? Чего же не возвращается?

А Ванюшка к ней и не вернулся. Да и никто к ней больше не посватался: такая лентяйка, да неумеха, да наряжаха, да неучё­ная - кому она надобна? Никому не надобна. Так до самой старо­сти одна и просидела.

Может, ещё и сегодня сидит. Ну и пускай её сидит! Не жалко!

1. *1Рувим Исаевич Фраермйн* – писатель, друг К. Г. Паустовского [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)